

НЕ МЕСТО



НОВОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ОБЗРЕНИЕ

НАТАША ГРИНЬ
•
НЕ МЕСТО


НОВОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

МОСКВА • 2026

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Г82

Редактор серии — Д. Ларионов

Гринь, Н.

Г89 Не место / Наташа Гринь. — М.: Новое литературное обозрение, 2026. — 208 с.: ил.

ISBN 978-5-4448-3027-7

«А те немногие избранные, кому посчастливилось жить здесь, ходить здесь, растить здесь детей, наверняка не могут, как мы, полулюди, полупризраки, отколовшиеся от своей мертвой земли, путешествовать во времени и пространстве, пересекая эти почти по-сельски тихие улицы, где что ни сворот, то событие, вспышка чьей-то истории». Действие романа Наташи Гринь разворачивается в парижском предместье Медон — городе, где жила в эмиграции Марина Цветаева. Здесь рассказчица ищет следы Константина Родзевича — возлюбленного поэтессы, вдохновившего ее на «Поэму горы» и «Поэму конца», — и реконструирует его судьбу от Гражданской войны в России и эмиграции до работы на советскую разведку и доживания в доме престарелых. Параллельно разворачивается другая история: молодой человек въезжает в опустевшую парижскую квартиру и жжет в камине чужие бумаги, не зная, кому они принадлежат. Обе линии, разделенные десятилетиями, объединяет один вопрос: возможно ли обрести свое заветное место там, где тебя никто не ждал? Написанный на пересечении автофикшна, документального эссе и поэтической прозы, роман включает в себя фотографии и архивные документы как важные элементы повествования. Наташа Гринь — писательница, автор романа «Апоптоз» (2022), переводчица с французского.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

В оформлении обложки использовано фото автора.

© Н. Гринь, 2026

© Н. Агапова, дизайн обложки, 2026

© ООО «Новое литературное обозрение», 2026

Я ищу свое место. Sitio.
Ролан Барт

Как всякая женщина,
я кровожадна —
я жажду крова.
Вера Павлова

Счастье — в доме!
Марина Цветаева

Медонъ (Meudon) — городъ во франц. депт. Сены и Уазы. 7258 жит. (1891 г.); большая астрофизическая обсерваторія, стеклянные заводы, мѣловые ломки, лѣс служитъ мѣстомъ прогулки парижан. Въ церкви — памятникъ Рабле. При Людовикѣ XIV въ М. выстроень замокъ для дофина, во время революціи служившій помѣщеніемъ института аэронавтовъ; Наполеонъ великолѣпно реставрировалъ его. Во время второй имперіи онъ былъ лѣтней резиденціей Жерома Наполеона. В 1871 г. во время осады Парижа войсками Макъ-Магона, зажженъ канонадой съ Монъ-Валеріена.

*Энциклопедическій словарь
Брокгауза и Эфрона*

ОТ АВТОРА

Большая вода не нужна. Большая вода — это моря и океаны, крупные, беспозвоночные реки. Большая вода не нужна маленькому человеку. Большая вода маленького человека смущает, подавляет, почти унижает. Человеку опасно жить у большой воды. Тогда он рискует стать как бы оторванным от жизни — превратиться в поэта, художника, фантазера, путешественника. Рыцаря. У большой воды всегда чувствуешь себя сильно недо или сверх. Она смотрит на тебя своим бескрайним горизонтом, и кажется, что ты либо можешь все, либо ничего.

Маленькая вода человека не смущает. Наоборот — помогает. В маленькой воде человек может найти опору, высмотреть свое отражение, кинуть блинчик камушка или свой голос, который вернется к нему эхом. Маленькая вода помогает человеку видеть границы возможного, ведь человек не может всего. Человек ограничен — как и маленькая вода.

Я выросла у маленькой воды, но ее было много. Небольшой закрытый город был затянута в колючую проволоку и кольцо из четырех озер. Не сбежать. В этой иглисто-водяной тюрьме родители учили меня плавать. Летними вечерами, после их работы и моей жары, мы приходили на пляж. Расстилали пахнущие домом полотенца на песок, смешанный с землей, камнями и сосновыми шишками. Пахло стылой водой и гнилыми водорослями. Бежать купаться никто не спешил. Сперва отец деловито прохаживался по опустевшей линии берега, щупая воду пальцами на ногах, и спустя время возвращался к нашему лагерю и чуть смущенно, куда-то под грудь, озвучивал вердикт: хороша. Начиналось движение. Мы медленно вставали с уже чуть влажных от земли полотенец, ровняли по телу тугие цветные купальники и шли к воде.

Первым окунался отец. Пока наша с мамой кожа еще привыкала к воде, он уже резал гнутой спиной тихую гладь прозрачного озера. Очень скоро он уплывал далеко за красные волчки буйков, куда-то туда, где почти все живое превращалось в черную точку, как на конце этого предложения. Какое-то время он и правда был точкой, то совсем маленькой, то покрупнее. То приближался, то вновь отдалялся. Высматривал что-то в пустой воде. Тогда он не видел, как мама, протянув вперед обе руки, чуть опущенные под воду, держала ими меня, шестилетнюю, вытянувшуюся в горизонтальную линию, похожую на эти строки. Как плавает собака, помнишь? Делай так же, повторяй движения, гребь руками и ногами и дыши. Дыши. И я, вспоминая собак, много-много раз пробовала плыть и однажды плыла совсем. Действительно, по-собачьи. Стало быть, когда папа был точкой, я была одновременно и животным, и ребенком. До полного приема острашения мне не хватало лишь стать эмигрантом.

Май 2023, Медон

Без двадцати шесть утра. С этого часа в любой случайный день на подземной станции парижского вокзала Аустерлиц останавливается электричка линии RER C. Я еще не здесь, но знаю, что в такой ранний час пассажиров на перроне почти нет — все те, для кого сон свят, еще спят. Вдоль платформы тянется ряд однообразных ламп, светящих равномерно желтым, среди них есть две-три почти перегоревших, пытающихся морганием вернуться в строй. Где-то в глубине тоннеля уже начинает шелкать, оттуда тянет влажным запахом электричества и металлической пыли, пара секунд, и в полутьму платформы врывается двухэтажный состав. Двери поезда равнозвучно расходятся, случайные вагоны апатично всасывают случайно неспящих, двери поезда равнозвучно смыкаются, и электричка, чуть покачиваясь, молча катит дальше — по глубокозалегающей кровеносной системе города, мимо сусольной платформы бывшего вокзала Орсе, где взгляд невольно устремляется вверх, прорубая этажи и лестницы, мимо и вровень всегда меняющей свой цвет, в зависимости от сезона, влажной ленты Сены, скользящей под вполне заурядный для города автомобильный мост Мирабо, откуда, говорят, и сбросился один поэт, но не наш, а румынский. Его тело найдут только через месяц, стало быть, сегодня, 1 мая, отнесенным водой далеко вниз по течению с двумя неиспользованными билетами на постановку «В ожидании Годо» в кармане лопнувшего костюма.

Окно вагона, такой усовершенствованный диаскоп, в такт моргания сменяет слайд за слайдом — бежево-серые четырехугольные предместья Парижа, заросшие, как и везде, однотипными многоэтажными домами

и прозрачными офисными зданиями, начатыми или замороженными стройками, острыми скатами мокрого щебня. Урывками — выхваченные детали частной жизни: цветная шторка, колеблемая ветром в само собой распахнувшемся окне (никакой руки не показалось), беззвучно лающая на что-то собака за оградой старого дома в две полосы, явно восточного характера лиана из белого белья, треплющаяся на смазанном балконе (моргнула), толчок и — платформа — с затоптанно-красной, оторвавшейся от стебля головкой цветка и тут же рядом, на черном блестящем асфальте — еще дымящийся, выпускающий дух окурков. Хоп — и снова все плывет, соскальзывает с глаза, уносится назад.

Довольно скоро живописно-центральные городские станции остались позади, и теперь вагон потихоньку заполнялся совершенно равнодушными к пейзажу пассажирами, вносящими с собой с улицы землистый запах дождя и открытых мест. С их полураскрытых зонтов, чем-то напоминающих соцветия борщевика по обочинам летней дороги, ведущей нашу синюю четверку из Сибири в далекий-далекий юг, на пол стекали дождевые капли, образуя небольшие озерца, которые мгновение спустя расходились крошечными реками, бежали, бежали, бежали, пока в итоге не впадали в маленький океан в самом ложбинистом месте вагонного прохода, куда потом непременно ступала чья-то подошва, расплескивая воду, — такое миниатюрное подобие Сотворения мира. Тем же каплям, что каким-то чудом уцелели, хватко вцепившись в темные одежды, передавалась, как и всем остальным, вибрация движения, пульсация дороги, и в этой дрожи их было довольно легко принять за полноценных попутчиков, возможно севших в поезд ради предсмертного желания — разбиться не здесь, на этих совершенно одинаковых, цементно-серых пригородных станциях Парижа, где горьковато и как в детстве сытно пахло шпалами и чем-то копченым, — а там, где хочется, там,

где дышится, там, где чувствуется простор и свобода, там, где просто красиво.

В какой-то момент зацепленные фокусом хваткого иностранного зрачка люди-дома-машины-деревья за окном стали сливаться в единое мутно-серое полотно, которое лезло куда-то ниже, дальше глаз, отчего тело легко клонило в сон. И проносящееся мимо все — этот бесформенный банальный фотоэтиюд с обилием круглящихся от движения острых углов и отсутствующего цвета — все увереннее превращалось в вагонном стекле в мигающее отражение обычной красоты женщины. Длинные черные вьющиеся волосы с ниточками седины, она вдевает в самую крутую височную кудрю свой тонкий указательный палец и собирает на него, как колечки, спирали — одну за другой, одну за другой, — пока не упирается в кожу, роспуск пряжи и все сначала. Еще несколько секунд контуры ее лица как бы парили в воздухе, дробимые пролетающим пейзажем — такой же обычной, незапоминающейся красоты, и только объявление приближающейся станции вывело из этого приятного транса качки. И когда замедляющий скорость поезд начал неуклюже и как бы рывками — как проза — подаваться вперед, испуганная каким-то внутренним хлопком машины, готовящейся остановиться, маленькая немецкая девочка, сидевшая через пролет и вслух загибавшая пальцы по счету станций, вдруг сбилась, замолкла и, теряя уверенность в руке, растерянно, в поисках подсказки, посмотрела сначала в окно, а затем на отца, внимательно и очень по-европейски изучавшего бумажную карту. Зибен — произношу в голове за ребенка, зибен — это значит, что они сели семь станций назад, на Библиотеке Франсуа Миттерана.

Один из тех незнакомцев, кто только что сошел на станции Исси — звукового близнеца слова «здесь» (иностранцы наверняка воспринимают ее название так, исключительно наречно), оставив место по соседству

с моим пустым, обронил, вставая, свой проездной билет, белый бумажный тике с черно-барсучьей полоской на спинке, ее, говорят, вплоть до пятидесятых использовали в качестве рекламы — духов, коньяка, средства для стирки, обуви, сладостей, ресторанов, наручных часов. Сделав двойное сальто в воздухе, билет по всем расчетам должен был упасть прямо к ногам замолкшей немецкой девочки, озирающейся, привстав, по сторонам двух окон, но напоролся на ветер, влетевший в вагон с открытием дверей, и исчез где-то под сиденьями. Вдруг, как всегда за эти последние месяцы, наверное, частью от скуки (свое чтение осталось дома), частью от страха времени — прошлого, настоящего и будущего — подумалось обо всех этих маленьких купленных-проданных билетиках, с самого-самого начала века, поначалу цветных, ярко-красных, потом постепенно официально выгорающих — вплоть до нынешнего белого, чьи разрисованные рекламой оборотные стороны дырявили компостером в виде кружков, пирамид, сердец и т. д., в зависимости от взятой пассажиром линии. И вот пока они тряслись под землей в чьих-то карманах, переезжали с места на место, с одного конца города в другой, спали закладками в книгах — то в первом классе, то во втором, а в годы оккупации — в «синагогах», последних вагонах состава, определенных для евреев, чтобы иногда, в конце каких-то конкретных поездок, оказаться оставленными на могилах известных людей, как делают до сих пор, — их полномасштабные братья и сестры огибали город, погрязший в черной пыли, смотрели со стен домов и переходов метро, афишных тумб, предупредительно предлагая прохожим адреса, где можно купить то, то и это.

Перед глазами замелькало. Уменьшенный до формата парижского проездного билета — 57×30 мм, а теперь огромный уродливый ребенок, его старший брат-близнец, больше похожий на старика,

настоящий беби-кошмар, кривит жуткую улыбку с брандмауэра жилого дома, рекламируя туалетное мыло Cadum, — стало быть, мы где-то в тридцатых. Туда же и Nicolas, краснокожий торговец винами с рекламы с соседнего перекрестка — по букету бутылок в каждой руке, чем сильно напоминает сегодняшних стамбульских продавцов воздушных шаров, предпочитающих малолюдные европейские кварталы вопреки любой логике продаж. Улицу спустя наш воображаемый пешеход, скажем, среднестатистический европеец в темном шерстяном костюме, похожий на кого угодно из тех, кого уже нет, какой-нибудь случайный француз или американец, а может быть, даже именно тот, следы кого я ищу, обычный русский эмигрант в серой псевдорабочей фуражке, переехавший в Париж из Праги пару лет назад и женившийся на дочери известного философа ради денег, как он сам позже признает, перейдя пешеходный переход не своей улицы, наткнется на растянутую по углу здания желтую афишу, где мадемуазель в длинном полосатом платье по нынешней моде торжественно, будто это новорожденный, протягивает ему складную клапп-камеру Kodak. Она, эта камера, останется популярной вплоть до войны, и он неоднократно будет на нее сниматься — то семьей, то знакомыми, пока на рынке фотографии не появится та, что сейчас потрясывается, как маленькие собачки пожилых дам, у меня на коленках, — раритетная двуглазая черная коробочка с неподвижным зеркалом фирмы Rolleiflex и оптикой Carl Zeiss, выдающая «квадратные» снимки среднего формата — единственное мое здесь приданое и наследство.

Меньше минуты простояв на станции Исси и, кажется, никого не впустив в мой вагон, поезд снова лязгает, трогается, занывая, набирает ход, рвет пригородную сеть и, мягко кренясь, как мысль, на скорости проносится под мощными каменными сводами виадука, изображавшегося живописцами XIX века как



геологический феномен, а в XX едва различимого на нечеткой фотографии поэта, уже нашего, сделанной в 1928 году ровно с того же самого мостка, у той же самой, теперь — ярко-синей — вензельной балюстрады, куда эскалатор со станции Медон Валь-Флэри выносит всех сошедших на станции пассажиров, включая меня. На этом вертикальном черно-белом снимке неизвестного авторства поэт держит за руку своего трехлетнего сына, выглядящего и правда чудовищно крупным для своего возраста, оба — в полный рост, чуть вполборота, всегда удачный ракурс. Мальчик, щурясь от солнца, серьезно смотрит в камеру, поэт, кажется, на сына, улыбается. Одеты они по-летнему, просто и явно для долгой прогулки, без которой — ни одного дня. Она, неутомимый ходок, одолевает жизнь через пространство — чем больше пройдено, тем больше случилось, произошло, — и мне это очень понятно.

Я внимательно рассматриваю пленочный скан фотографии на телефоне, то отдаляя снимок, то приближая его, и пытаюсь телом найти то самое место, где стоял фотограф. Увидеть кадр его глазами, войти в него.

В целом защелкнутая стодавняя реальность мало отличается от нынешней: серые бетонные плиты под черными подошвами сменились на брусчатку того же колера, лес поредел и оформился, а привезшая меня железная дорога тянется вглубь снимка через дома повыше и покрупнее, в другом — все то же.

Когда я смотрю на это фото здесь — на том самом месте, где оно было сделано, еще несколько лет — и почти ровно век тому назад, концентрирую на нем все свое внимание, то чувствую в себе некое размытое, едва уловимое, но все же подобие всесилия, способного силой моего сосредоточенного взгляда физически реконструировать кадр, восстановить, вернуть из рассеянной тьмы эти две безместно угасшие жизни. Вот, еще чуть-чуть, еще немного — и прорисуются бесцветные контуры их фигур, туго сощурюсь — и они зальются цветом этого как будто даже зимнего тяжелого неба, а потом зашевелиятся почти точно так же, как подрагивают, впрыгивая в выпавшую глазу картинку, через вырезанные в бумаге квадратики, разукрашенные человеческие силуэты в старинных объемных книгах, так называемых *livres à tirettes*, их теперь увидишь разве что в музее печатного искусства или у непосильно дорогих антикваров. Книги эти, так популярные в XIX веке и так редкие сегодня, чаще всего представляют собой не текст и не изображение, а развертывающуюся в перспективе, слоистую рисованную историю, скажем, про сад Тюильри, и всё без единого слова — исключение составляет только название, выведенное чернилами на пятнистой коробке-обложке. В этом теперь ставшем страшной редкостью дофотографическом формате рассказа есть что-то магическое и — очень правдивое. Кажется, что умещающееся в кармане место производит куда более сильное впечатление, чем самое удачное его описание, самим этим фактом — оно может быть вынуто и показано, оживлено — абсолютно где угодно. Места — не эмоции

и не события, они переживаются телом и особенно глазами, — и, может быть, именно поэтому о них хочется говорить в том числе изобразительно.

Так или иначе, но тем же летом того же 1928 года поэт пишет своему юному медонскому другу, научившему ее обращаться с камерой, тоже поэту — со столь же незавидной судьбой, о том, что она фотографирует там, в Понтайяке, по большей части не родных, а дачу, где этим летом они живут семьей, песочный пляж, дубовую рощицу, и просит, помимо прочего, по пути сюда же поснимать его повороты дорог, по которым — и строка обрывается. Возможно, ей хочется увидеть уже виденные ею пейзажи — но глазами другого, завладеть прошлым, превратить картинки из цветных воспоминаний в монохромные сцены из снов, расширить архив памяти, разбередиться. Убедиться, что пройденная ею дорога не исчезла, не заросла. Да и кажется, что все, снятое кем-то другим, отдаляется менее стремительно. Будешь там — отправь мне фото, я делаю точно так же, особенно если знаю, что никогда туда не вернусь. И во всех этих фотографиях мест, где мы бывали, пусть и проездом, быстро и бездумно, где мы оставили, пусть и против желания, какое-то одно из своих тонких тел, есть что-то садняще-ноющее, вот такое: ай.

Я оглядываю стороны кадра и выхожу из него. Глаза заливают цвет. Шум очередного отходящего в Париж поезда смешивается с колесными проворотами тележки, которую катит старушка впереди, с почти индустриальным гулом голубиных крыльев, обгоняющих головной вагон, с размашистым дрожанием стрелки привокзальных часов, тоже рвущейся вперед, с моим сырым дыханием. Тело, еще не улавливая будущего направления и еще не отвыкшее от размеров покинутой комнаты, под фыркание проносающегося мотоцикла выплывает с мостка станции и мечется, одновременно тянется в противоположные стороны,

к еще пульсирующим точкам жизни — не моей, чужой, поэтиной. Будто вслух и не себе говорю нет, не сегодня, и в остаточной легкой качке уже совсем на-верняка покидаю ничейную землю вокзала и вхожу в знакомый, но чужой город.

Сегодня холодно. Судя по одежде тех, кто перед выходом из дома все-таки посмотрел на градусник, на улице или разгар осени, или самое начало зимы, обе — по местным меркам, с привычным здесь опозданием всего, что должно было прийти вовремя — в месяц. Зимы и никак не лета. Кроме того, снова начал моросить белый дождь, взявший было паузу и теперь бесполезными черточками заштриховывающий и без того темно-темный асфальт. Зонта с собой у меня нет, ко всем местным дверям, кажется, нужен какой-то особый пароль, и мне не остается ничего другого, как продолжать путь наверх, по сильно горбатой улице, уходящей высоко наверх, туда, где в старое время, нет-нет да пробегал насколько-то монарший взгляд, а сейчас — велосипедисты в моем направлении спускают цепь до первой передачи. В этом торжестве серого я представляю себе больше силуэтом, чем условным живым существом, туго-натуго перетянутым нервами. На сетчатке постороннего неголубого глаза я могла бы выглядеть примерно так же, как смотрятся с черного экрана родительского Panasonic герои любимого в детстве фильма «Десятое королевство», попеременно надевающие волшебные туфли короля троллей, дарящие невидимость и кучу проблем. Я — пустота, схваченная границами тела.

Мои же псевдофермерские, с разбитыми носами сапоги цвета каштанов, жаренных коричневой рукой в пассаже Ришельё, там, где на скамейках спят бездомные, никак не могут быть скороходами, но что-то волшебное в них все-таки есть. Все это последнее время и — странно — чаще всего именно здесь, почему-то в этом небольшом городе, о котором мало кто уже

знает, на этой самой улице, не говорящей совершенно ни о чем конкретном, сопротивляющейся пешеходному весу и совсем уже скоро согнувшейся влево, я почти физически, сквозь подошву, ощущаю, как время отмащивается назад. И чем круче дорога уходит дальше, туда, на обнесенную камнем вершину холма, особенно — после этой маленькой равнинной развилки, тем дорожке в стрелках (такая валюта) сто́ит каждый мой шаг. Что-то вроде такого: шаг — минус пятнадцать минут, другой — минус час, третий — минус день, а дальше — больше и быстрее: минус весь две тысячи двадцать второй год, минус еще пять-десять лет, минус век. И, заступая на совершенно обычную улицу rue Terre Neuve, улицу Новая Земля, о которой мне тоже есть что сказать, я уже совсем теряюсь во времени, перестаю его переживать, как бы выталкиваю его вовне, хотя и вход в городской парк, на террасу Медонской обсерватории, куда я направляюсь, — буквально в пяти минутах ходьбы отсюда.

Толстая холодная капля, скатившись, как слеза, с дерева, с почти слышным шипением разбивается о мою горячую шею и уплывает туда, где живет атлант первого позвонка. Передергиваясь на шаг, я чувствую, как по телу, вот так вот, за сущий щелчок, прокатывается острая волна, превращая кожу то ли в чешую рыбы, то ли в шкуру медведя, что ее ловит. А телу и незачем врать, оно меня знает, свою хордовую женщину, которая, добравшись из уральских вод до Атлантики, и через тысячи миль несет на себе запах родного ручья. Перепрыгивая этот шквалистый северный ветер, как речные пороги, она инстинктивно и слепо движется в горку, вверх против течения рю Тер Нёв — о которой уже совсем скоро, — норюясь вернуться назад, к месту, где родилась. Но так уж решила биология, что, однажды пропутешествовав к океану, к месту рождения рыба никогда не вернется. По пути к своей маленькой воде она погибнет — это

мы знаем точно. Галечное дно дома так и останется воспоминанием запаха, мemento морем. У нашей рыбы это, как ни странно, — запах влажной, влажной земли и кыштымского костра.

От главного воспоминания про рю Тер Нёв, куда я поднимаюсь, как на скалу, — рывками, слишком грубыми для нежной механики старинных часов, меня вдруг отвлекает пожилая женщина в красной псевдорусской шапке. Вежливо поздоровавшись (французская константа), она легко закидывает мокрый указательный палец, как крюк, на мой локоть, шурится от темноты и наконец спрашивает время — как же не вовремя. Вопрос этот мгновенно отбрасывает меня вперед, то есть — назад, по моим быстрым подсчетам — до годов тридцатых прошлого века, как раз примерно к тому моменту, когда мадемуазель Андре Дефонтен, победительница в конкурсе медонских швей, фотографируется для местной прессы, стеснительно пряча руки — главное свое оружие — за спиной; отмотка пленки — и новый кадр: чудовищный пожар полностью уничтожает место, откуда началось покорение пространства, — завод авиаконструктора Эмиля Лётора, включая готовые машины плюс все чертежи и архивы, и прямо совсем рядом, в медонском лесу, там, где так любит гулять наш поэт, — шелк — потомственный спирт Марсель Кардек ищет, по слухам, захороненное тело без вести пропавшего, на деле похищенного и убитого сотрудниками ОГПУ одного из лидеров Белого движения — генерала Кутепова. На получившейся в голове мультiekспозиции — почти черном кадре со всполохами света то там, то тут — мало что можно разобрать, разве только белые лаковые туфельки мадемуазель Дефонтен в самом низу снимка, по сравнению со всем остальным, вышли довольно четко. Мне вдруг подумалось, что если сперва чуть обрезать этот кадр, оставляя туфли внизу и захватывая побольше темноты сверху, а потом его чуть увеличить, перевернуть

и распечатать, пару раз затем пропустив через сканер, то можно будет говорить о фантомном, но все же сходстве с той фотографией, тоже слегка зернистой и черно-белой, что стоит на заставке моего телефона. Разгораясь, она показывает цифры времени, которые я, немного задумавшись, и сообщаю французской даме в псевдорусской шапке, одновременно удивляясь тому, как, оказывается, много общего между женской обувью первой половины XX века и увядшим до плесени тюльпаном, забытым на веранде бабушкиного садового домика во Владимирской области, спустя неделю найденным обросшим паутиной, сфотографированного на камеру старого телефона и, наконец, отправленным мне.

Шагом я замещаю рывок. Итак, Тер Нёв. В обрыве моего воспоминания все было так или примерно так. Кто-то из нас поздоровался первым, скорее всего, это была я, она, стало быть, ответила на приветствие, и затем, после довольно продолжительной тишины, схваченной запахом подвальной сырости и жженой смолы, пока я осматривала пространство лавки, она еле слышно, как бы про себя, так, словно бы меня там и не было, сказала, насколько можно верить моему французскому уху, что-то вроде — рыбы не молчат, они просто не знают речи. За высоким прилавком из высохшего дерева, упрятанного к самой последней стене антикварного магазина на морскую тематику, напоминающего архитектуру кулича, как можно дальше от входа и дневного света, дернулась седая женская голова. Казалось, что в магазине этом продавалось все, абсолютно все, что когда-либо сделал человек с мыслью о море, — необходимое и ненужное, крошечное и огромное, просто старинное или настолько древнее, что на глаз и не определить, — все как и полагается добротному французскому броканту: дверные ручки с лицом морского демона, компасы разных эпох и состояний, плоские и двуногие, ходящие по картам

раскорякой; моряцкие униформы, погоны, нашивки, береты, воротнички, старые уродливые куклы со стершимися лицами, одетые во все это; корабельные светильники, работающие на масле, морские телескопы, карты, медали на выгоревших флагах, рыболовецкие снасти и сети — с еще поблескивавшими обломками застрявшей в них чешуи. Все это было покрыто седым слоем пыли, где-то большим, где-то меньшим, в зависимости от того, насколько доступным к рукам немногочисленных случайных посетителей оказывался предмет — коробка со старыми открытками и фотографиями, стоявшая на столе при входе, была еще ничего, но все, что висело на стенах, — ловчие сети, полутораметровый заржавленный якорь, подбитый отколотыми моллюсками, деревянные корабли, картины и гравюры в стиле *ex voto*, изображавшие судно в злую черно-синюю бурю и святого, чьей милостью оно спаслось, — все это как бы на глазах исчезало в стенах, затянутых паутиной настолько, что, кажется, в ней запутался бы и самый профессиональный паук. Сколько лет и сил ушло на то, чтобы найти и собрать все эти предметы здесь, в этом небольшом средневековом полуподвале со всегда открытыми настежь дверьми, даже представить было невозможно, настолько старым, будто это церковь, из-за суммы возрастов всего, что здесь находилось, вплоть до срезанных пуговиц с традиционной французской морской формы, с ползущими химерами и падающими якорями, казалось это место.

Неуверенно переспросив — прошу прощения, что вы сказали? — я не глядя положила на место, в старую жестяную коробку из-под печенья, до краев заполненную пылью с другими февами, маленькую фигурку рыбы из посеревше-молочного фарфора — ничего особенно, такие во Франции запекают в чрезмерно сладкий франжипановый пирог волхвов на праздник Епифании, многие — почему-то коллекционируют и позже

продают, как здесь, в этом деревенском броканте, конечно же, не отмеченном на картах и совершенно случайно оказавшемся на моем проселочном пути из Нормандии в Париж. Не показываясь из-за ширмы прилавка, голова чуть дернулась, попыталась встать, отчего маятником заходил подвешенный на выгнутую настольную лампу свисток, возможно не раз спасший кому-то жизнь. Зрительно дробимая его качанием, не услышав или будто не услышав моего вопроса, голова продолжала. Здесь нет никакой игры, все дело в поверхности воды, сказала она, чуть шатаясь, как и я, в звуках, вода, вода попросту отражает звуковые волны, поэтому рыба никогда не слышала человеческую речь, понимаете, она попросту не знает, что это такое. Даже если, предположим, выловленная однажды рыба услышит, как человек говорит, и каким-то чудом спасется, соскочит с крючка и вернется домой в воду, там никто ей не поверит — как объяснить то, чего нет, тем, кто никогда того не слышал, правда? Вот что интересно.

Это может звучать странным, но верить можно, ее муж был рыбак, он много знал о рыбах, двадцать километров к северу от Эврё, вот туда, будет большая рыбная ферма, где он работал, это неподалеку от Акиньи, не бывали там? очень живописное местечко. После ее переезда из Швеции во Францию в середине шестидесятых они все время были в дороге, никогда долго не задерживались на одном месте — сначала ездили по нормандскому побережью, сам он родом из Фекана, где даже у привозных фруктов был рыбный привкус. Мрачное место, настоящий город призраков. До начала большого пути почти ежедневно они гуляли там по бугорчатым вершинам скал, поросших острой приморской травой, рассекающей кожу ладоней до крови, — дикой морковью, степным бодяком с его щетинистыми листьями, смотрели на серую гавань с бывших немецких бункеров, которые, по плану

Гитлера, должны были помогать контролировать пролив и выпускать снаряды в сторону Англии. Муж пробовал снимать ее на фоне моря, но кадр косил, захватывал части бетонных блокхаусов и мощных постаментов для огромного радара, который вроде бы так и не был установлен, по ее вкусу, получалось не очень красиво. До войны Фекан был главным портом по ловле трески, продолжала женщина, но с оккупацией рыболовство здесь практически остановилось, все местное трудоспособное население немцы принудили работать на строительстве Атлантического вала, люди трудились там без остановки, даже по ночам. Его отец тоже там работал, но рассказывать об этом не любил, и она мало что знала. Наверное, из-за своего рода боязни повторения чего-то страшного, что часто приносит с собой большая вода, они естественно оставили море и потом жили где только ни, преимущественно на материке, так она сказала, — в Осере и в маленьких бургундских деревнях, сладко пахнущих яблоками и навозом, около ферм или виноградников, везде, где нужны были рабочие руки, от богатого Молиньяка до богом забытого Валь-Сюзона, где тогда уже человека принимали за привидение, а теперь, наверное, и вовсе никого не осталось, потом перебрались на юг, в горы в Люмирон, что в Верхней Савойе, по которой одно удовольствие было путешествовать на машине, особенно красиво в Анси, там совершенно чудесное озеро, в Швеции, где я выросла, сказала женщина, не найти таких барочных пейзажей. Какое-то недолгое время, может быть с год или того меньше, это было еще до рождения Филиппа, они провели в Медоне, это пригород Парижа, знаете, по знакомству, у семейной пары Делатр, снимали там скромную, но просторную комнату в свежестроенном доме по улице Тер Нёв, чьи желтые козырьки над балконами вынуждают память к сравнению с фасадом отеля Montreux Palace — вмешиваясь в чужое воспоминание, дополняю я. Окна

у них выходили на южную сторону, упираясь зрачком в глупую бетонную стену, служащую поддержкой крепости, давным-давно окружавшей очень красивый королевский дворец, позже снесенный, и на авеню де Саблон, по нашему — пескóв, и она, верившая в знаки слов, думала, что так покинутое побережье напоминает им о себе. И странно, но когда ей пришлось идти в теперь уже — мою — горку, до того бывшую еще и поэтиной, о чем тогда, слушая этот рассказ, я, конечно, еще даже и не подозревала, то иногда ей казалось, если так вообще можно говорить об обычной улице, что она шла вверх по реке, против ее течения — похожее чувство может переживать человек, который незаметно для самого себя отдался петлеобразной воле большой воды, глубоко погрузившись в свои мысли, и был отнесен ею слишком далеко от берега. Хорошо, если испуг осознания, как далеко он заплыл, не даст ему потерять драгоценные секунды и он, изо всех сил борясь с тягой воды, засасывающей его ноги в спираль, бросится к берегу, к все время дрожащей в глазах кромке, где начинается земля.

Как и любой человек, насильно столкнутый в одиночество, она говорила много, долго и о разном, но преимущественно о городах и улицах, которые во Франции всем на слуху, но мне были не знакомы, существовавшие везде и нигде конкретно, — рю дю Шато, рю де ла Танри, рю де л'Авалас, рю дю Ба, рю де ла Монтань, рю де ла вся ее жизнь — и честно сказать, уже и не вспомнить всех этих комнат и домов, временами наблюдавших за их, в общем-то, ничем не примечательной, обычной человеческой жизнью, наверняка мало отличающейся от той, что вели там люди до нас, да и после, насколько позволяет память, так продолжала шведка. Время, в сущности, мало что меняет, особенно места: засыпая, мы глядели в темноту высокого плафона, порой — лишь с едва угадывающимися линиями толстых потолочных балок, где местами при

свете читались засечки местных рабочих, сделанных при постройке дома, вроде хiii и похожие, их оставили когда-то такие же незнакомцы, простые люди, как и те, кто потом, после наших отъездов, наверняка очень быстро занимал это освободившееся место и, готовясь ко сну, точно так же как и мы до них, направлял свои новые глаза на старые, успевшие стать чьими-то и нашими тоже, черты на деле — чужого дома. В конце концов они таки вернулись в Нормандию, в первое место, которое стало ей вторым домом на новой земле, как у меня — Париж, а точнее — его XII округ. Я, как Жанна, героиня Мопассана, сказала, чуть помолчав, женщина, одной рукой шаря в ящике запыленного рабочего стола, служащего скорее подставкой для, кажется, уже затвердевшего лабиринта из свившихся от сырости разнородных листов бумаги. Всю свою жизнь, если помните, она прожила в городке Ипор, у моря, очень приятное там местечко, каждый день наблюдала, как меняется его цвет, из окна своей комнаты, вдыхала его соленый пар и днем и ночью, любила, как человека. А потом, когда сын обобрал ее до нитки, вынуждена была продать любимое фамильное поместье, помните, и переехала со своей служанкой в маленький дом, куда-то в окрестности Годервиля, где моря, понятно, не то что не видать — его там и не слышно. Но у тех, кто долго жил у воды, шум прибоя, он вот здесь, сказала шведка, прикрывая ладонями уши и улыбаясь. Для нас, когда море далеко — это же пытка, вот Жанна и страдает, слабеет, чахнет, задыхается, и если чем и живет, то только воспоминаниями о прошлом — где моря было как степи. Когда здесь, в этом моем подвале, стекла звенят в рамах при сильных порывах ветра, дующего с побережья, я понимаю, что это и есть мой дом, то самое место, которое я всегда искала, вот такими путями — она сделала руками волну, место свое, но не у себя. Иногда, чтобы это понять, нужно пожить далеко от дома, от места, где родился.